

## БЛЕСК И НИЦЕТА ЭССЕИЗМА \*

*Журн. "Вопросы лит-ры", № 5, 1990*

Григорию Померанцу, книга эссе о Достоевском вышла в нью-йоркском издательстве «Либерти» под названием «Открытость бездне», было не избежать сравнений, коих он сам большой любитель. Литература о Достоевском огромна — от Фрейда до Шестова, от Розанова до Бахтина и Долинина. Что-то из этой все увеличивающейся коллекции Г. Померанц использует, что-то упоминает, что-то опускает, но в основном он идет своим путем, будучи одаренным литератором и тонким комментатором. Смешно поэтому упрекать его в том, скажем, что ему не вспомнились 30 гениальных страничек, которые молодой Тынянов озаглавил «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)». Однако в такого рода опущениях — как, по Фрейду, в оговорках — автор проявляется не менее, чем в своих пристрастиях: трудно представить что-нибудь более чуждое свободному эссеисту Померанцу, чем формальный метод, а тем более — генеалогические розыски.

Напомню: Юрий Тынянов опро-

верг ходячее мнение о том, что Достоевский, как он сам будто бы говорил, вышел из «Шинели», и, наоборот, показал, что в Фоме Опискине тот пародирует «Выбранные места из переписки с друзьями». Какая там литературная генеалогия, когда Померанц в эссе о Достоевском цитирует поэта Пань Юня, академика Судзуки и «практику» дзэн-буддизма, хотя и оговаривает, что никакого влияния дзэн на Достоевского, разумеется, не было. Но даже без этой оговорки вряд ли можно упрекнуть Померанца в том, что Бенаресская проповедь Будды ему ближе, чем Нагорная — Иисуса. Если Померанц улавливает сходство между чтением романа Достоевского и работой над коаном — это, как говорится, его личное дело, ибо речь идет не о чтении вообще, а о чтении Померанца. Потому что его книга — это именно комментарии читателя, читателя квалифицированного, эрудированного, внимательного и увлеченного: читателя-писателя. Любой субъективизм здесь оправдан и произволом не выглядит. Другой вопрос — всегда ли он убедителен.

Померанц не ищет корней — ни интимно-биографических, как Фрейд либо Долинин, ни ближних

---

\* Григорий Померанц. Открытость бездне. Эссе о Достоевском. Последействие Бориса Хазанова. Нью-Йорк. «Либерти». 1989. 469 с.

литературных, как Тынянов, ни дальних литературно-философских, как Бахтин в своей заслуженно прославленной, но, увы, канонизированной книге (традиция мениппеи). Померанц ищет не корни, но аналогии: любое сравнение поэтому в контексте его метода, который точнее было бы назвать антиметодом. Здесь нет ни противоречия, ни парадокса, ибо эссеизм принципиально антиметодичен. Эссеизм — это дилетантизм: не вкладываю в это слово ни отрицательного, ни положительного смысла — дилетантом был и называл себя, к примеру, Стендаль. Не надо путать дилетантизм с невежеством — дилетантом может стать профессионал, ибо это свободный выбор: Померанц мог бы написать научную книгу о Достоевском, а написал ненаучную. Дилетантизм как выбор и эссеизм как жанр соблазнительны и рискованны одновременно, ибо, следуя канону либо школе, можно достигнуть удачи без таланта, в то время как необходимое условие эссеизма-дилетантизма именно талант. Эссеизм — это литературная свобода как и любая другая, она снимает с человека общие обязательства и предъявляет ему личный счет. Помимо таланта, необходимы еще мужество и ответственность, которые у Померанца есть.

Как раз когда Померанц сходит к оставленному им жанру литературоведения, его постигают неудачи. Общий очерк о Достоевском, открывающий этот том, безусловно, слабее глав об антикрасно-

чии, об эвклидовом и неэвклидовом разуме, наконец, об открытости бездне — название главы, перенесенное на обложку. Однако рудименты литературоведения встречаются и в лучших этюдах Померанца. Если бы Померанц, как в случае с философией и практикой дзэн, объявил, что, с его точки зрения, учение Христа более наглядно и убедительно в иконе, чем в Евангелии,— это было бы утверждение, с которым можно было бы поспорить ибо человек имеет право на личное мнение, на личное восприятие. Но Померанц приписывает это, скорее эстетическое восприятие христианства Достоевскому: «Я думаю, что Достоевский непременно должен был припомнить на каторге лик Христа, а это значит, и всю структуру византийско-русской иконы... Евангелие само по себе не дает пластически цельного образа Христа. Христос в нем выступает то в одном, то в другом повороте, и единство можно угадывать и можно не угадывать. Эвклидову разуму бросаются в глаза скорее противоречия. В течение двух веков он упражнялся в анализе этих противоречий и создал целую традицию, которую Достоевский не мог не знать. Отголоски этой традиции его все время настигали — и раздражали. В противовес им он непременно должен был опереться на икону, то есть — или припомнить ее, или воссоздать заново, создать в воображении некое подобие иконописного лика».

Я бы мог сказать здесь, что с Достоевского было достаточно

Евангелия — в том смысле, что Евангелие было для него более убедительно, чем для Померанца. Но главное в том, что Померанц производит перемещение Достоевского из его культурно-исторического ряда в свой: не только работы Флоренского — «Моленные иконы Преподобного Сергия», «Обратная перспектива» и «Иконостас» прежде всего — не могли быть известны Достоевскому, но сама икона возвратилась в культурный обиход русских людей только на рубеже столетий XIX и XX, когда Достоевского давно уже не было в живых. К примеру, та же книга Д. Ровинского «Обозрение иконописания в России до конца XVII в.» вышла в Санкт-Петербурге только в 1903 году. Это знать (либо помнить) вовсе не обязательно, если этого вопроса не касаться. Но утверждая икону в качестве фактора влияния на Достоевского, следовало бы заглянуть в соответствующие исследования, — если бы Г. Померанц это сделал, он был бы осторожнее и не приписывал бы своих взглядов Достоевскому.

Померанц уязвим, когда его заносит на чужую территорию, — к счастью, это происходит редко. В эссеистике как прозе и в эссеизме как жанре, — этом до сих пор господствующем жанре в русской литературе, — Борис Хазанов в послесловии остроумно называет его импортным, — короче, на своей «жанровой» территории Г. Померанц почти безупречен, тонок, искусен и чаще всего убедителен: и сам по себе, и приводимыми цитатами

Эта книга не совсем о Достоевском, но о восприятии и понимании Достоевского Померанцем. Ни при каких условиях я бы не взял на себя смелость сравнивать восприятие Достоевского с самим Достоевским, потому что это была бы подтасовка, — на самом деле я бы сравнивал комментарий Померанца с моим собственным представлением о Достоевском либо с общепринятым. Здесь необходима своего рода вера, доверие, склонность, настрой — что-то наподобие тех чувств, которые сам Померанц испытывает к открытому им и наиболее часто цитируемому (по рукописи) Даниилу Андрееву, писателю и духовидцу. Андреев рассказал, откуда взялся в русском сознании «инфразысический страх», — роковым рубежом он считает Великую Смуту, когда дыхание антикосмоса опалило современников Грозного и Лжедмитрия:

«Впервые в своей истории народ пережил близость гибели, угрожавшей не от руки открытого, для всех явного внешнего врага, как татары, а от непонятных сил, таящихся в нем самом и открывающих врата врагу внешнему, — сил иррациональных, таинственных и тем более устрашающих. Россия впервые ощутила, какими безднами окружено не только физическое, но и душевное ее существование... Отсюда неистовая нетерпимость Аввакума, яростное отрицание им возможности малейшего компромисса и страстная жажда мученического конца. Отсюда непреклонная бес-

пощадность раскольников, готовых в случае церковно-политической победы громоздить гекатомбы из тел «детей сатаны». Отсюда же и та жгучая, нетерпеливая жажда избавления, окончательно спасения, **взыскуемого окончания мира**, которую так трудно понять людям других эпох. И отсюда же, наконец, тот беспримерный героизм телесного самоуничтожения, который ставит нас в тупик при вникании в историю массовых самосожжений, если метаисторическое созерцание нам чуждо...»

Я привожу эту длинную цитату из тысячестраничной «Розы мира» Д. Андреева с той же целью, что и Померанц, — дабы зафиксировать историческое начало распада первичной цельности душевного строя, с которого, собственно, и началось культурное и трансфизическое расширение границ личности, ее одновременная, релятивистская отзывчивость к противоположным духовным глубинам. В качестве предтечи Достоевского Померанц называет «Повесть о Горе-Злосчастии», созданную уже во второй половине XVII века, когда метаисторический опыт Смуты откристаллизовался в душевный дуализм. Анонимного автора этой повести Померанц называет «немым Достоевским», а о ее герое пишет, точнее, вопрошает: «Что томит молодца? Почему он видит перед собой только две дороги — в кабак или в монастырь?»

Померанц выстраивает литературный ряд, в котором явлением, наиболее близким и созвучным

Достоевскому, оказывается Тютчев: «У Тютчева встретились две бездны: внутренняя бездна раскола и внешняя, космическая бездна, открывшаяся уму Ломоносова. Безрассудная пропасть русской души, пережившей опричнину, и рассудочная пропасть Нового времени, познавшего бесконечность ньютоновской вселенной, как Аввакум — тьму внешнюю. Обе бездны перекликаются в тютчевских стихах, бездна вселенной становится подобием внутренней бездны, а внутренняя бездна — метафорой бездны, полной звезд. Канта восхищало когда-то «звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас». Тютчев испытывает ужас перед тем и перед другим: перед бескрайностью ночного неба и бескрайностью человеческого беззакония».

Кстати, в первоначальном виде это эссе было прочитано в качестве доклада, озаглавленного «Открытость бездне в творчестве Тютчева, Толстого и Достоевского», то есть три автора были поставлены вровень, ибо все трое в одинаковой степени близко к бездне приблизились, хотя и по-разному на нее отреагировали. Но всех троих отличало от литературных современников, что они задавали не только вопросы времени, но и вопросы вечности, метафизические вопросы, на которые не может быть отвечено однозначно — если вообще может быть отвечено. «Метафизический вопрос ведет к духовному опыту, который очень трудно передать», — пишет Померанц, ссылаясь на «арзамасский страх» Тол-

стого, «бездны» Тютчева на «вихрь открытых вопросов» у Достоевского. Дальше всех идет Достоевский, Померанц даже считает, что в образе Версилова Достоевский косвенно упрекнул Тютчева в духовной лени.

Если это так, в чем я не уверен, то я не согласен с Достоевским, а если не так, если этот упрек принадлежит не Достоевскому, а Померанцу, — я не согласен с Померанцем. Есть уровни, на которых нет прогресса и не может быть сравнения, тем более опыт всех трех русских писателей находился за пределами эвклидова мышления. Сам Померанц ссылается на Кришнамурти, который считал, что только неправильные вопросы имеют ответ, а на правильный вопрос нет ответа. Другой индийский философ, Раджини так объясняет древнюю традицию: вы должны созерцать вопрос, не пытаясь дать ответ, пока вдруг не окажется по ту сторону вопроса. О Достоевском Померанц пишет, что «ответ для него — ничто, вопрос — все... То, что душист Толстого, окрыляет Достоевского. Созерцание открытого вопроса, созерцание бездны, «родимого хаоса»... Творчество Достоевского разрушает стену ответов, построенных культурой, и сталкивает лицом к лицу с открытым вопросом... Достоевского спасает то, что он художник. Самодвижение романа обладает такой силой, что доктрину некогда толком высказаться. От вопроса невозможно уйти. Вопрос меняет свои облики, но не исчезает, он возни-

кает снова и снова на самых разных уровнях человеческого существования, в самых неожиданных поворотах ума, в самых фантастических характерах».

Здесь, конечно, есть с чем поспорить. То, что душило Толстого, душило, конечно, и Достоевского, а не только окрыляло его, и вряд ли все-таки Достоевского спасало то, что он художник. Здесь есть некоторая эстетизация проблемы, а точнее — идолизация искусства. То же самое, что с противопоставлением Евангелию иконы, понятой не как предмет культа, а как художественное явление. Художество не спасает, ничто не спасает от вечных вопросов, от неразрешимого противоречия между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским».

Вслед за Шестовым и Аверинцевым, но на примере Достоевского Померанц поднимает вопрос «Афины и Иерусалим». Шестов, как известно, отдавал решительное предпочтение «частному мыслителю Иову» перед греческим «симпозионом» Кантом и Гегелем, иудейский религиозный опыт противопоставлял «афинской» традиции философствования. Объяснять это только еврейским происхождением русского философа значило бы свести проблему к филистерскому уровню. Аверинцев еще более радикален в отрешивании от античной традиции; вот цитата из него, приведенная Померанцем: «Вывявленное в Библии восприятие человека не менее телесно, чем античное, но только тело для него не осанка,

а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвимые «потаенности недр»; это тело не созерцаемо извне, но восчувствовано изнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого «внутри». Это образ страждущего тела, терзаемого тела, в котором, однако, живет такая «кровеная», «чревная», «сердечная» теплота интимности, которая чужда статуарно выставляющему себя напоказ телу эллинского атлета».

Это очень сильно и талантливо сказано, но это вовсе не значит, что вслед Померанцу я соглашаюсь с Аверинцевым, а также с Шестовым и Кьеркегором. Талант — еще не аргумент, талант — это скорее соблазн, куда более сильный, чем аргумент. «Афины и Иерусалим» — это вопрос вопросов, в прошлом году я специально ездил в Грецию, чтобы уяснить его для себя. Ответа я не нашел, потому что не искал его, и не уверен, что он существует. Когда Померанц пишет, что расцвет красноречия связан с республикой, то есть с древнегреческим полисом, то это верно только в положительном смысле, а не в смысле противопоставления греческого красноречия древнерусскому немотству и антикрасноречию Достоевского. Тем болеестами страницами раньше тот же Померанц сравнивает роман Толстого с монархией, где последнее слово принадлежит государю-автору, в то время как роман Достоевского — это парламент, где автор оставляет за собой только роль спикера. По-английски это

называется «mixed metaphor», русский язык, конечно, свободнее от логических обязательств, но противоречие здесь очевидное.

В своей предыдущей книге «Сны земли» Померанц пишет, что «заранее отказывается от дискуссии с точечным мышлением, для которого глава заслоняет книгу, абзац — главу, фраза — абзац и даже обрывок фразы как-ким-то травмирующим словом заслоняет законченное предложение». Такого спора с Померанцем у меня нет — я сам не любитель критики мелких придирок, которая выявляет скорее мелкоту рецензента, чем недостатки рецензируемой книги. Надеюсь, мое несогласие — как и согласие с Померанцем, — что называется, «по гамбургскому счету».

Сдается мне, что в главе об антикрасноречии Померанц сам иногда впадает в красноречие, «упражняется в мышлении», а не работает над коаном, неразрешимой задачей в практике дзэн. Стоит ли этому удивляться? Ведь антикрасноречивый Достоевский тоже мог быть красноречивым — устами своих героев и сам по себе, в публицистике. А уж тем более красноречива Библия (я говорю сейчас о ней как о великом памятнике литературы, а не как о религиозных текстах). Известны насмешки над ее красноречием — Вольтера, Марка Твена, Шоу. Но Померанц прав, когда утверждает, что не только Достоевский, а вся Древняя Русь ближе Библии, чем «эллинскому атлету» Аверинцева: «Просто потому, что русский книжник (Аввакум, напри-

мер) читал Библию без всякого противовеса в Платоне или Лукреции. Библейский пласт вошел в русскую культуру, воспринимался как русский. «Пошто побил сильных в Израиле?» — писал Грозному князь Курбский... И в слогe Аввакума чувствуется его библейский тезка».

К этому можно добавить, что и Грозный отвечал Курбскому, опираясь на Библию, которую вроде бы знал наизусть. И вообще примеры можно умножить — вплоть до секты жидовствующих в Новгороде, этих несостоявшихся русских протестантов. Однако и отрывать Достоевского от европейской традиции нельзя — он вобрал ее в себя и оставался ей верен, даже борясь с ней. Я бы рискнул сказать, что, будучи самым русским из русских писателей-современников, он одновременно был среди них наибольшим европейцем — на иной глубине, чем тот же Тургенев. Собственно, потому и борьба с европеизмом была у него столь драматичной, что это была борьба с равным либо с высшим началом — как у Иакова с ангелом в стихотворении Рильке:

Кого тот ангел победил,  
Тот правым, не гордясь собою,  
Выходит из любого боя  
В сознание и расцвете сил

Не станет он искать побед.  
Он ждет, чтоб высшее начало  
Его все чаще побеждало,  
Чтобы расти ему в ответ

Вообще круг вопросов, поднятых в новой книге Г. Померанца, выходит за пределы творчества Достоевского и вызывает не к согласию, но и не к спору, а к размышлению. Две его предыдущие книги — «Неопубликованное» и «Сны земли» — тоже вышли за пределами СССР, где живет автор. Сейчас вроде бы все меняется, но медленно — я пока что обнаружил всего несколько его статей в советской периодике последних лет. Поэтому издание его новой книги своевременно и актуально как для зарубежного русского читателя, так и для советского. Для советского в еще большей мере, чем для зарубежного, — с учетом его количественного перевеса и длительной книжной диеты. Вместе с другими книгами издательства «Либерти» книга Померанца побывала осенью 1989 года на Московской книжной ярмарке. Я надеюсь что недалеко то время, когда она станет доступна советскому читателю не только для лицезрения но и для приобретения.

**В. СОЛОВЬЕВ**

*г. Нью-Йорк*